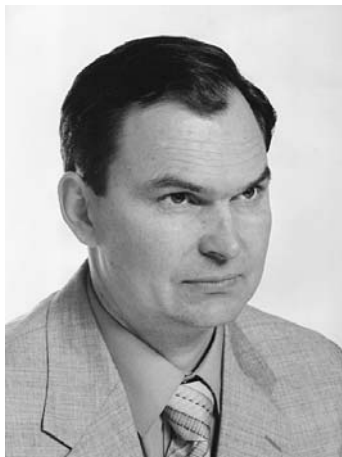


АНДРЕЙ БЕЛОЗЁРОВ



МОЛОДОСТЬ. ЛЮБОВЬ. ВОЙНА

РАССКАЗ

Этим летом ему исполнилось двадцать семь. Самый возраст для поэта, чтобы умереть и остаться навеки молодым и гениальным...

“Молодость. Любовь. Война” — такая троесловница вертелась в голове поэта Кости Курбатова, когда летом девяносто второго над городом на Днестре завораживающе замаячил призрак победоносной локальной войны.

Войну в Бендерах ждали, некоторым даже казалось, что на войне умирать нужно весело и влюблённо, без боли и страдания, не по-обывательски, экзальтированно. Одурманенные идеями свободы парубки в кожаном прикиде, спесь которых удовлетворялась попаданием в милицию или штрафом за изгвазданные стены, ждали от войны игрища, действия и бесконечной вольницы.

В ту же сторону глядел умозрительно и поэт Костя Курбатов (“Молодость. Любовь. Война”), пока не взорвалось...

Когда в двух шагах от Курбатова на тротуаре внезапно бабахала изготовленная в Китае петарда, громкая и раскатистая, для пущего эффекта положенная сорванцами в жестянку из-под пепси, то Курбатов суетливо прятал голову в плечи, увёртывался от возможных осколков. Казалось, и на войне, где рвутся снаряды и посвистом окаянным свистит со всех сторон, нужно только вовремя поворачиваться, уворачиваться, доворачиваться, и всё будет “тип-топ”, как в кино: слаженно, сглаженно и даже задорно.

БЕЛОЗЁРОВ Андрей Борисович родился в 1966 году в г. Бендеры Молдавской ССР. Учился в Кишинёвском институте искусств и педагогическом институте. Окончил Высшие литературные курсы в Москве. Проза печаталась в журналах “Кодры”, “Молдова литературная”, “Московский вестник”. Член Союза писателей Приднестровья. В настоящее время живёт в Подмосковье.

Но лишь разорвался среди мирной улицы первый настоящий пушечный снаряд, всё вдруг стало в тысячи раз оглушительнее и подлее, злее и невразумительнее, чем в самом страшном кино или возле банки с петардой.

Потом ещё один снаряд бабахнул. Ещё один. Казалась, вся улица взвыла, застонала, объялась гарью и пылью. А уличная толпа у магазина и на остановке забесновалась, кинулась врассыпную, — вдоль улицы и в подворотни. Снаряды рвались и рвались, методично и убийственно.

Курбатов бежал по улице рядом с толстой увалистой тёткой, обогнал её, он обогнал и старого-старого старика, который, казалось, мог бы и не бежать никуда... Курбатов догнал парня и девушку, они держали друг друга за руки, они вдвоём убежали от обстрела, от смерти, от войны... Парень черно-волосый, с бледным лицом, с заострившимся носом, с голубыми глазами, которые испуганно взглянули на Курбатова, а лица девушки Курбатов не видел: она худенькая, волосы светлые, колышутся на ветру от умопомрачительного бега.

“От топота копыт пыль по полю летит... от топота копыт пыль по полю... от топота копыт...” — бестолково билась в голове Курбатова невесть откуда залетевшая поэтическая строка. Только не в вольной степи и не из-под копыт доброго коня ширится пылевой столб, — вдруг грохот опалил всё существо Кости Курбатова, и асфальт среди улицы подняло вверх. Взрыв был безумной силы, он враз оглушил и сделал немым Курбатова, у него в мозгу застыл взявшийся из сумбура мыслей афоризм: “Когда грохочут пушки, музы... молчат, музы мертвы...” Курбатов не столько отчётливо видел, сколько угадывал, как умирали эти двое: парень и девушка, которые держали друг друга за руки, убегая от войны. Они ведь закрыли его, Костю Курбатова, спасли от разрыва, потому что ближе оказались к зловещей петарде...

Парню осколком перебило горло, и кровь сразу потоком вылилась из него... А девушку взрывной волной оторвало от парня, снесло в сторону, словно снопок соломы, прибило к бордюру, изрешеченную осколками и окровавленную.

Курбатов безумно кинулся бежать в обратную сторону. Вскоре он перешагнул через толстую тётку, которая лежала без движения, но и без видимых ран, — жива она была или нет, он не знал, не понял. Курбатов сам не понимал, жив он или уже нет, и только что-то остатное, предсмертное движется в нём. А старого-старого старика нигде не было видно.

Откуда-то сверху застрочил пулемёт. Ему ответили короткие автоматные очереди. Глухо ухнула впереди за углом граната, где-то опять разбились стёкла, и осколки стекла звонко сыпались на мостовую.

Он не помнил, как очутился на этом чердаке. Он не помнил, зачем, для кого написал краской эту красивую троесловицу, словно хотел навсегда избавиться от неё, не вспоминать... “Молодость. Любовь. Война”. И откуда здесь на чердаке, где в углу лежал старый полосатый матрас, взялась банка красной краски и полусохшая кисть и почти чистая кирпичная стена, на которой он написал эти три слова?!

* * *

- Давай, давай, заходи слева...
- А ты давай справа! Слышишь?!
- Осторожно: они сверху!
- Вон он, падла, засел на крыше!..
- Прикрой меня. Я его урою!..
- Блин, он меня задел!.. Больно-то как!!!
- Слава Богу, навылет!..
- Не высовывайся! а то, как Серёгу — на куски очередью!..
- Ха-хха-ха-ха, — бросай гранату!

Казалось, кричали все со всех сторон... И только на одном языке — на русском. И хотя многие голоса с акцентом, но к нему привыкли на приднестровской земле все: русские, украинцы, молдаване, болгары, евреи, немцы,

поляки, гагаузы, — все в русской языковой плоскости, — все: и миролюбивые трусливые граждане, и вояки, и террористы, которые тоже не хотели распадаться на части от взрыва гранат и автоматных очередей, несмотря на чертовское обаяние подввернувшегося героизма.

...На первые митинги и демонстрации в Бендерах выходили рьяно, заодно квасили носы активистам (те этим, а эти — тем), на рельсы садились, рискуя расплосоваться под стальными колёсами адской машины, запущенной новой “постсоветской” государственностью: национальная независимость, с одной стороны, сепаратизм, или та же, только усечённая, национальная независимость, — с другой.

И вот оно, началось. Не по-детски.

Бухают солдатские башмаки со звонкими подбивками; то ли “наши” наступают, стало быть, “румыны” отступают, — то ли наши отступают, стало быть, те наступают. Обмундирование, камуфляжи и обувка военная без отличительных знаков — сразу и не разобрать: кто есть кто на поле битвы — посреди мирного города. И трескотня, трескотня, трескотня выстрелов из “калашей” в перерыве между разрывами пушечных снарядов и мин.

Наконец враги-полицаи, усатые “румыны” в хаки, поместили себя белыми лентами чуть выше локтя, отличительными знаками для своих. И ещё азартнее стали строчить из ручных пулемётов и автоматов: влево и вправо, вверх и вниз, выкрикивая по-русски, с сильным акцентом:

— Заходы слева!

— Чердак провер!

...Приказано осмотреть чердак соседнего дома, где засел то ли снайпер, то ли диверсант, оторвавшийся от “своих” и палящий дуру по всем без разбора. (Были и такие специалисты, что стреляли и в тех, и в этих; сеяли панику, неразбериху.) Их выкуривали по чердакам, героев-одиночек, и из-за них гибли мирные жители, бегущие с детьми и тощими узелками укрыться от всего и вся.

И вдруг опять взрыв, и потом вой — то ли женщины, то ли мужчины, а может, их сыночка или дочки, или старика-родителя:

— Убили! Убили!!

Вой, в общем-то, не мужской и не женский — не человеческий вообще, — скорбный вопль ангела, сошедшего с ума...

* * *

Всю ночь напраполю Бендеры были объаты огнём, а к утру всё стихало. Выставив караулы, противоборствующие стороны готовились на всю катушку отдохнуть, чтобы ввечеру опять начать доказывать свою правду — азартно лупить друг по другу через весь город (не беда: недалёт, перелёт... а на месте хаты, где под полом пряталось мирное семейство, — озерцо, — не беда...): минами, гранатами, пулемётными и автоматными очередями и, конечно же, снайперскими выстрелами не брезговать. Снайперы особенно старались.

Одинокая пуля — подлый инструмент убийства; даже у Лимонова, опереточного предводителя революционеров (ах, проклятые стихи, они всё равно, при любом случае, даже в болезненном полубреду, лезли в голову поэта Кости Курбатова), — есть стихи про пулю, “тихую и злую”, которая не предаст ни при каких обстоятельствах. (Лимонов, кстати, тоже удостоил явлением своей особы опалённые войной Бендеры: с автоматом наперевес красовался в фото- и телеобъективы — только с разницей во времени значительной, когда основной напор пролитой крови уж схлынул, когда туманно и муторно тянулось время по обе стороны баррикад, — в беспробудном мареве анашисто-водочном, — в ожидании третьей силы, катастрофически запаздывающих миротворцев российских.)

Так вот, отдыхали после страшной ночи весело — и полицаи румынские, и гвардейцы приднестровские — без претензий друг к другу, и не без фантазии, учитывая почти джентльменский уровень договорённостей. На одном

пяточке нейтральном высылось почти невредимо (рука не подымалась направить ствол “калаша”, не то что “мухи”) здание республиканского пивзавода, выпускающего качественный напиток. Вот ведь, все в округе корпуса производственные побиты, вывернуты наизнанку, со снесёнными кровлями и чёрными подпалинами, нашигиваны пулями всевозможных калибров, а это стоит себе хоть бы что.

Бойцы в шортах — в обрезанных по колено хаки из-за редкостной тем летом жары, в засаленных тельняшках, а то и с запросто оголёнными пузами — посещали хранилища с чаями, — по строжайшему сговору не вести в эту пору пальбу; и даже, бывало, фляжку-другую разопьют вместе, вспоминая годы доперестроечной жизни; кое-кто из вояк так и учился с кем-то из нынешних врагов в кишинёвских или тираспольских училищах или техникумах. Бывало, и родственники пересекутся на пивзаводе... как в прежние времена — одни “красные”, другие “белые”.

В сумерках же начиналась опять свистопляска, светопреставление. Ночью все давали волю “трезвым” чувствам, припав к гашеткам. И одна, и другая сторона — в июньскую душную ночь. “...Жара, жара; жареное солнце больших городов!” — надрывался динамик и на одной, и на другой стороне; слушали одну и ту же волну, должно быть, выдерживая в себе “русский дискурс”...

Но кто из тех воюющих понимал свою стратегическую задачу, и была ли она вообще? А может быть, в региональной войне главное — создать эффект бойни, привлечь внимание общественности, привлечь ценой чьих-то жизней?

И вот опять в ночи стонут и ухают батареи, сотрясают молдавско-приднестровскую землю, собирая с неё жертвы. (Основные жертвы были в первый день войны, полегло до нескольких сот, потом под огнём оказывались пьяные неувертыши, случайные несчастливцы...)

С наступлением рассвета полковые чины с обеих сторон командовали: “Отбой!”.

* * *

На чердаке Костя Курбатов перевязал себе ногу. Его слегка царапнуло. Он и не почувствовал этого в первый момент после взрыва. Но главное — его ранили не в тело, а куда-то глубже. Может быть, в душу? “Раненая душа” — красиво и поэтично. И конечно, глупо, всё глупо, когда война и убивают невинных парня и девушку.

Даже не из-за страха, а от отупения, от растерянности и подавленности, от... — Костя Курбатов боялся и не хотел этого признавать, — от возможной конгузии он провёл больше суток на этом пахнущем голубиным помётом и кошачьим дерьмом чердаке, на засаленном матрасе в углу, под наклонной деревянной балкой, напротив стены, с привязавшейся троесловицей.

Ночью — ведь он попал под вечерний обстрел — и целый жаркий день Костя Курбатов видел с чердака ненавистных румын, а потом забывался то ли во сне, то ли в бреду в углу на матрасе, а вечером, когда хотел сбежать с чердака и пробраться к своим в другую часть города, перейти через линию фронта, опять началась неимоверная канонада.

Утро. Надпись на стене казалась ненавистной. Курбатов отыскал банку с краской, там ещё немного осталось этого сурика, и стал замазывать написанное им. Краски хватило только на то, чтобы закрасить “молодость”... На два других слова краски не хватило. “Любовь. Война” — так и остались пачкать стену...

Костя Курбатов выбрался на улицу.

На перекрёсток, недалеко от дома, в котором спасался-отсиживался-отлеживался Курбатов, — подкатил крытый КамАЗ, стал сигналить, громко, резко, высокомерно. Привезли “гуманитарные пайки”, хлеб и макароны.

Человек в хаки кричал в мегафон о раздаче продуктов питания: выходите, мол, мыши и зайцы робкие, из укрытий бетонных, из нор своих затх-

лых, — за бесплатной хавкой становись по одному! Было-де вам зрелище нынче ночью, а теперь и хлеба, пожалте!

С грузовика швыряли размашисто и вольготно хлеб, макароны, консервы. Костя Курбатов хотел есть. Но ещё больше — пить. Бутылки с гуманитарной минералкой и потянули его к грузовику, — пристроиться в очередь.

— А ты чего здесь околачиваешься? — надела на него хрипучая бабенция с авоськой. — Все молодые и здоровые уже давно в ополчении. Ушли воевать за родную землю! — Курбатов ей явно не понравился. Что-то она в нём заподозрила.

— Я не знаю, как перейти огневую линию, — попробовал оправдаться Курбатов. — Мы не на той стороне, где ополчение... Куда я пойду?

Бабенция презрительно отмахнулась и поспешила к грузовику, чтобы под надзором лихого усача в хаки и с автоматом наперевес получить свою пайку.

Костя Курбатов к борту машины с гуманитарным красным крестом так и не подошёл.

Застигнутый войной враспloh на “румынской” стороне города, он и рад был бы оказаться на другой стороне поделенного города, где держали оборону приднестровцы, где находился родительский дом, где жили и другие родственники, ничего не знаящие о его судьбе (телефонная связь не работала), но теперь он был сбит с толку.

В голову полезли опять стихи, вернее — какие-то нелепые прозаические строчки, которые требовали рифмы: “Если ты на войне — значит, действуй...”

План был прост: выискать окольную тропинку, далеко за городскими постройками, и через частный, малоэтажный сектор: от дома к дому, от курятника к курятнику, от земельного надела к земельному наделу (до наступления вечера, до дьявольской свистопляски) — пробраться под другую юрисдикцию. Сперва свидеться с родными, сообщить: жив, а затем уж — в полк, в народное ополчение. Взять в руки автомат и... отомстить за парня и девушку. Да, ведь это лучший исход для поэта!

Да, лучший! Это намного лучше, чем мыкаться по свету, бежать на Запад, идти в услужение хозяевам новой жизни или идти куда-нибудь в продажную газетёнку, уж лучше в торговую контору, продавать стиральные порошки или...

Курбатова остановили. Это была женщина. Сухонькая, невеликого роста, духом спокойная старлица, аккуратно, по-будничному обходящая распоротый минами и гранатами асфальт, в тёмной косынке и с хозяйственной сумкой, куда-то идущая (возможно, помогать кому-нибудь, оставшемуся без человеческого участия в этой чехарде), совсем не увёртывающаяся от вездесущего снайпера, от которого и невозможно увернуться; словом, Курбатова остановила эта женщина на развилке дорог у начала владений частного сектора.

— Сынку, туда не ходи! И туда тоже, — она указала рукой на разные стороны света. — Повертай обратно, иначе румыны тебя заставят рыть окопы, а к вечеру расстреляют. Двенадцать заложников ночью расстреляли, а их же сотоварищей заставили забросать тела комьями. Потом грозили и этих расстрелять!

— Что же делать? Как пробраться в центр? — озирался Курбатов.

— А никак. Всё оцеплено. Мой племянник, бывший военный, ситуацию как на ладони определил. Пождать треба несколько дней... Старикам только путь и открыт: туда и обратно... Со временем всё образуется. Коридор беженцам дадут. Девчонки вот — насильничают! Девчонкам тоже никак нельзя!

* * *

В том же направлении, куда стремился Курбатов, пробиралась, как-то нескладно, порывисто, приседая и оглядываясь по сторонам, молодая особа. Курбатов не сразу узнал её. Но узнав, очень обрадовался: Люба Иванчицова — сотрудница городской газеты. Они были знакомы давно, он неоднократно заносил в редакцию подборки своих стихов.

Любу тоже предостерегла старушка:

— Не надо туда идти...

Курбатов с Любой решили поворачивать обратно. Люба жила здесь неподалёку, а “к своим” стремилась из-за дочки, которая осталась гостить у родителей “на той стороне”.

Люба захлёбывалась потоками проклятий:

— Чёрт, чёрт, чёрт! Гады! И одни, и другие! Ведь знали ж, что боевая техника на город прёт! Разведка ж работает. Почему не предупредили жителей?! — Она была настроена воинственно: решительные нотки в голосе и жесты: никакого цвета в глазах и никакой косметики на лице. Ничего женственного, — никогда такой не думал увидеть её Курбатов, а ведь было время, заглядывался, делал знаки внимания... — У меня малютка-дочь и мама на той стороне. Я не знаю, что с ними...

Они шли мимо перекорёженного сожжённого БМП, явно из советских арсеналов (других ни на той, ни на другой стороне не было), возле которого лежал обожжённый труп.

Солнце поднималось выше и выше.

— Уф-ф! Как палит. На градуснике сегодня почти сорок, — отирая со лба пот ладошкой, сказала Люба. — А ты представляешь, что с теми трупами, которые никто не убирает? У нас во дворе вчера одного захоронили. Гроба нет. В целлофане. Закопали в палисаднике прямо под окнами... Ты видел их?

— Кого?

— Трупы на улицах. Их много...

— Да, видел, — растерянно сказал Курбатов. — Как только началось, видел. В самый первый час. Парня и девушку... И ещё тётку толстую... Я мог быть сам среди них.

— Павильон на автобусной остановке взорвался. Там люди были. Автобус ждали.

— Я когда-нибудь напишу об этом, — сказал Курбатов. — Если выживу.

— Стихами? — чуть язвительно усмехнулась Люба.

— Нет, — ответил Курбатов. — Может, они ещё там и лежат на асфальте, под солнцем... Надо посмотреть.

— Никуда не ходи! — приказала Люба. — Переждём у меня. Лишь бы дочка... — Она всхлинула, в глазах заблестели слёзы.

Они подошли к девятиэтажке; Курбатов когда-то провожал Любу сюда... Обшарпанная и пробитая пулями дверь подъезда была широко открыта (в Бендерах 92-го о железных дверях с кодовыми замками ещё не мечтали...)

Лифт не работал. Взбирались на девятый этаж. Голодные коты встречали на площадках у закрытых дверей. Выли пораженчески — не громко, но обидно. Люба осторожно отворила дверь. Посреди прихожей стояли тумбочка и кресло.

— Баррикадировалась, ждала ночью штурма, — горько усмехнулась Люба. — А дислоцироваться всего лучше здесь, в прихожей. Не так гремит. Окна все выбиты...

Окно и балконная дверь были заложены кирпичами книг, закамуфлированы ватным одеялом, стоял полусумрак, электричества не было. Груды вещей валялись посреди пола. Казалось, всё в этом мире вверх дном...

— Будь готов ко всему, — предупреждала Люба. — Не исключено, что напротив в доме засел снайпер. На шестом этаже в нашем доме мужчина курил у форточки, милая привычка не задымлять родных, — так его убили выстрелом в глаз...

* * *

Костя Курбатов провёл с Любой два дня и две ночи. Люба дважды перевязывала ему боевую рану на ноге — в сущности, царапину...

Отрезанные от “большой земли”, в окружении врага, они скоро обнаружили общность и теплоту в отношениях и с соседями по этажу, и подъезду,

и ближайших домов. Разводили совместно в бетонных колодцах дворов костры для приготовления пищи (ни газа, ни электричества...), делились последней краюхой хлеба (гуманитарной, другой не было), искали свежей информации, всё ж таки по капле проникающей через кордон оцепления с той стороны...

Люди сплотились за это время, жили одной семьёй.

А вокруг — усатые румынские тараканы, ощеренные оружием с ног до головы, но какие-то вялые — то ли от жары, то ли с перепоя: пивзавод-то — черпай не вычерпашь... Угощались вояки, угощался и осаждённый люд, по воле политиков оказавшийся в патовом положении.

Мощь ночной канонады постепенно спадала, алчба человеческих жертв поубавилась.

Курбатов и Люба всё это время почти напролёт разговаривали друг с другом, словно не могли наговориться, выговориться или хотели докопаться до чего-то такого, что открылось им только теперь, после залпов орудий на приднестровской земле. Они не думали, не хотели и даже не могли думать о чём-то интимном и плотском, но... В какой-то момент — словно луч солнца просёк квартирную темноту через узкую щель, дав поначалу яркий блик на полу. Но с каждой минутой нового взаимного узнавания блик расплывался, заполняя светом уже всю комнату, вытесняя мрак. В какой-то момент несчастная Люба ожила, расцвела, заискрилась, изливая естественный женский восторг и очарование жизнью — назло всему, сменив, наконец, и нестерпимые мутные хаки на ясный лучезарный сарафан... Костя Курбатов восторгался и упивался ею в эти минуты. А в мозгу навязчиво стучало нестерпимое, соблазнительное и кровавое: “Молодость. Любовь. Война”.

* * *

На рассвете третьего дня, презрев страх, Костя Курбатов и Люба двинулись по направлению к центру города, “к своим”.

Курбатов разработал план выхода... — с белым флагом. Он поднял над головой полотнище из белой простыни на древке, которое когда-то служило шваброй, и смело пошagal вперёд. Рядом, доверительно глядя на него, шагала Люба с сумкой, набитой детскими вещами.

Уже в соседнем дворе к ним присоединились бабуля с питерским внуком и с собачкой на поводке, потом — мамаша с младенцем на руках (макаронами и рыбными консервами малыша не накормишь), дальше — пятеро девчат в школьных форменных платьицах и с атласными голубыми лентами выпускниц 1992-го (война ворвалась и на школьный бал!), и далее — повсюду: женщины, мужчины, старики и подростки, с рюкзаками, тележками и колясками... И вот уже целая колонна шагала по городу. Впереди всех победно шёл Костя Курбатов, над которым развевался “пораженческий” белый флаг...

Мирные люди, идя по гуманитарному коридору, который сами себе проложили, смотрели по сторонам и не узнавали свой город. Всё то и даже более, что покажут затем ведущие каналы телевидения, разворачивалось перед ними, как в затыжном бредовом сне: искорёженные гусеничной техникой тротуары и парковые аллеи, разграбленные и сожжённые заводские корпуса, магазины, выжженные общежития, разгромленные артобстрелом городские кварталы, до фундаментов снесённые отдельные дома и, конечно же, — трупы, трупы, трупы мирных горожан и военных. Взбухшие, разлагающиеся. При дикой жаре. При дикой войне.

* * *

Пару месяцев спустя вооружённая фаза конфликта миновала: миротворческие силы наконец-то веско подтвердили “протокол о намерениях сторон” (ох, и летели клочки от румынских снайперов по городским задворочкам!).

Костя Курбатов поступил работать корреспондентом на местное телевидение. Он с болезненным трепетом отсматривал километры лент видеохроники бендерской трагедии. Вглядывался в лица погибших, лежащих в рядах у передвижных моргов-рефрижераторов, в которых ещё недавно доставляли рыбу и фрукты для потребителей всей огромной страны. Он пристально вглядывался в кадры в надежде обнаружить убитых на его глазах парня и девушку — тех, кто нечаянно закрыл его от смерти.

— Свобода без жертв не обходится, — заявил как-то раз видеоинженер студии Игорь Дергачёв, который тоже отсматривал всю кровавую хронику.

— Не обходится? — возразил Курбатов. И тут же взвился: — Ты это матерям вон тех, тех, кто штабелем лежит в рефрижераторе, тех, кого безоружными расстреляли, расскажи! Расскажи!

Дергачёв ничего не ответил и больше с Курбатовым недавние события не обсуждал.

А как-то раз Курбатов застал предприимчивого видеоинженера в студии с иностранными корреспондентами. Дергачёв покраснел, потом стал оправдываться: дескать, от правды никуда не уйти и тому подобное... Он просто-напросто продавал иностранным журналистам, а по сути коммерсантам, кадры бендерской трагедии (пускать их в то время по центральному телеканалам в полный формат никто б не решился, а для гешефта по кабельным заграничным сетям — в самый раз)... Курбатов выгнал прочь иностранцев, а Дергачёву надавал по морде, хотя с детства не терпел рукоприкладства.

В тот же день случилось так, что позвонила Люба Иванчикова.

— Заходи за мной в редакцию, в газету.

— Нет, сегодня не зайду, — мрачно ответил Курбатов.

— Почему? — голос Любы слегка дрожал.

— Мне сегодня в хозяйственный магазин надо.

— Зачем?

— Краски хочу купить. Стену покрасить... Ты не обижайся.

Вечером Костя Курбатов разыскал тот чердак, на котором прятался в первый день приднестровского конфликта, — прятался, спасённый парнем и девушкой от взрыва и осколков снаряда, — на тот самый чердак, где, контуженный, в полубезумии написал свою троесловицу.